

Ночной дозор. Томас Мертон filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Ночной дозор. Томас Мертон.

Предисловие.

Имя Томаса Мертона – писателя, монаха, мистика, поэта, социального и литературного критика, переводчика и комментатора – недостаточно известно российскому читателю. Давняя публикация его переписки с Борисом Пастернаком в “Континенте”; тонкая книжечка “Новые семена созерцания” (М., 1997) и несколько случайных статей и стихотворений, затерявшихся в море “благочестивой” печатной продукции последних лет; его биография, написанная Джимом Форестом (Джим Форест. Живущий в премудрости. – М.: Истина и жизнь, 2000); восторженное, но далеко не всегда верное изложение его взглядов в религиозно-философских отделах толстых газет и солидных журналов; фантастические пересказы его биографии в Интернете, которые даже не хочется опровергать; наконец, тенденциозная статья в поп-энциклопедии “Мистики XX века” (главный на сегодняшний день источник информации для оккультно ориентированных энтузиастов Мертона) – вот, похоже, и все.

Между тем, книги Мертона – а их более семьдесят, включая дневники, которые он вел всю жизнь, и обширнейшую переписку, – тридцать пять лет спустя после его смерти продолжают переиздаваться, новые биографии и воспоминания выходят в свет, в разных странах возникают общества изучения его наследия, количество диссертаций и научных работ, интерпретирующих его творчество, исчисляется сотнями и увеличивается с каждым годом.

Определенно, этот монах с широкой улыбкой на загорелом лице и крепкими руками крестьянина представляет собой загадку. Мертон не вписывается ни в одну из готовых схем, сколько бы мы ни старались ввести его в рамки. В лучшем случае удается описать его как глубоко противоречивый, романтически-контрастный тип – монах и бунтарь, католик и дзен-буддист, молчальник и мастер слова, – что, конечно, делает его понятнее, но вряд ли приближает нас к разгадке. Ведь то, что на первый взгляд представляется противоречием, таковым для Мертона отнюдь не являлось – он жил и осознавал себя в ситуации экзистенциального парадокса, не примиряющего, а попросту отменяющего всякие противоречия. Эта свободная и ответственно принятая позиция была оплачена всей его незаурядной жизнью. Как Иона во чреве кита, Мертон плыл к своему назначению “во чреве парадокса”. Книга, эпилог из которой мы предлагаем читателю, так и называется – “Знак Ионы”.

Одно предварительное замечание по тексту. Образ ночи, вокруг которого построен предлагаемый отрывок, – ключевой для Мертона. В этом отношении он следует традиции испанского мистика 16-го века Хуана де ла Круса. “Темная ночь души”, как ее описывает де ла Крус, – это состояние онемения всех чувств, через которое проходит человек в своем приближении к Богу.

Краткая хронология жизни Томаса Мертона[1]

1915, Франция – 31-го января у четы художников – новозеландца Оуэна Мертона и американки Руфи Дженкинс – родился сын Томас.

1916 – семья Мертонов переезжает в США, где Томас более или менее постоянно живет у деда с бабкой в Дугластоне.

1921 – Руфь Дженкинс умирает от рака.

1922 – Томас с отцом уезжает на Бермуды.

1925 – переезжают во Францию.

1926–1932 – Томас учится в лицеях и частных школах Франции и Англии.

1932 – Оуэн Мертон умирает от опухоли мозга.

1933 – Томас путешествует по Италии, проводит лето в США, осенью начинает учиться в Кембридже (французский и итальянский языки и литература).

1934 – по настоянию опекуна и родственников уходит из Кембриджа и переезжает в США.

Ночной дозор. Томас Мертон filosoff.org
1935 – поступает в Колумбийский университет.

1938 – заканчивает учебу со степенью бакалавра и поступает в аспирантуру Колумбийского университета. Учится и работает над диссертацией по английской литературе.

1938 – крещен в католичество.

1940–1941 – преподает английский язык и литературу в Колледже святого Бонавентуры.

1941 – поступает послушником в Гефсиманский монастырь католического Ордена траппистов в штате Кентукки. Траппистский орден относится к числу созерцательных: трапписты не занимаются ни педагогической, ни миссионерской, ни социальной деятельностью. Они молятся и трудятся. Кредо траппистов – “активное созерцание”. Монастыри существуют на полном самообеспечении (ежедневная физическая работа обязательна для всех) – трапписты знамениты производством сыров и пива – и отличаются особенно суровым уставом. Быт трапписта, действительно, коммунальный: у монаха нет ничего своего, даже кельи – он спит в большом dormitorio вместе с десятками братьев. Траппистов часто называют молчаливками, что в известном смысле верно: хотя траппистские монахи и не дают обета молчания, они имеют право разговаривать только со старшими по иерархии и в особых случаях – с посторонними. Для общения друг с другом выработан язык жестов.

1944 – принимает простые монашеские обеты. Издана первая книга стихов – “Тридцать поэм”.

1947 – принимает постоянные монашеские обеты.

1948 – издана автобиография Мертон, “Семиярусная гора”; успех превосходит все ожидания – книга становится бестселлером.

1949 – Рукоположен в священники. “Семена созерцания”, “Вода Силоз”.

1951–1955 – Наставник схоластиков (монахов, готовящихся к принятию священнического сана).

1951 – “Восхождение к истине”.

1953 – “Знак Ионы”.

1955 – “Человек – не отдельный остров”.

1955–1965 – Наставник новициев.

1957 – “Безмолвная жизнь”.

1958 – “Мысли в уединении”.

1960 – “Спорные вопросы”.

1961 – “Новый человек”.

1964 – “Семена разрушения”.

1965 – “Ганди о непотворении”. “Путь Чжуаня Цзы”.

1965–1968 – получает разрешение на отшельничество: живет на территории монастыря в уединенном доме.

1967 – “Мистики и дзенские наставники”.

1968 – “Монашеский пруд”, “Вера и насилие”, “Дзен и птицы аппетита”.

1968, 10-е декабря – Томас Мертон (в монашестве – отец Луи) погибает в Бангкокской гостинице (удар током от неисправного вентилятора) в Тайланде, куда он приехал для участия в конференции азиатских бенедиктинцев и цистерцианцев.

Сторож, сколько ночи осталось?

Ночь, о Господи, это время свободы. Ты видел день и ночь, и ночь была лучше. Начало всех вещей – в ночи, и ночью же я узнал о том, что все они конечны.

Гефсиманская обитель, омывшись в крестильной реке ночи, восстановила утраченную невинность. Прежде чем поглотить все видимое, темнота наводит некоторое подобие порядка. Пора в дозор – табельные часы закреплены на лямке, лямка перекинута через плечо. Этой ночью, в тишине четвертого июля, пришел мой черед быть пожарным сторожем. Я буду сторожить дом, которому когда-нибудь придет конец.

Вот как это происходит:

До восьми вечера монахи расппевают гимны Богородице, подобно изгнанникам, в надежде на скорое счастье набившимся в раскаленное чрево корабля, везущего их в страну рабства. В восемь ночной ангелус[2] отпирает церковь и выпускает их на свободу. Тогда это священное чудовище – Монашеская Община – распадается на части, просачивается сквозь духоту крытых галерей, где желтые лампочки не привлекают мошканы, и рассеивается по всему монастырю.

В специальной коробке у подножия лестницы в лазарет лежат табельные часы, кеды, карманный фонарь и ключи от разных помещений.

Шум сзади, над головой и вокруг меня означает, что братья один за другим расходятся по своим кроватям. Некоторые останавливаются в галерее попить холодной воды из бумажных стаканчиков. Так мы боремся с жарой. Я беру тяжелые табельные часы и перебрасываю их на лямку через плечо. Бесшумно ступая, подхожу снаружи к ближайшему окну, устраиваюсь в его желтом свете и негромко начинаю вычитывать второе субботнее повечерие. Дом постепенно затихает.

Замешкавшийся в прачечной брат со сменой сухого белья за плечами подходит к окну, выглядывает в темноту сада и, заметив меня, читающего псалмы с требником в руках, делает вид, что испугался.

Минут через десять-пятнадцать в крытых галереях уже не будет слышно эха шаркающих по лестницам шагов. (Опоздавшие должны снимать обувь у входа в дормиторий и в носках пробираться к своим кроватям, чтобы не разбудить спящих, – как будто кто-то может спать в такую жару.)

Восемь пятнадцать. Я сижу в темноте и слушаю людскую тишину. Постепенно я начинаю разбирать красноречие ночи, ночи сырых деревьев и лунного света, скользящего по склону церкви во влажной дымке спадающей жары. Миллионы неведомых существ от рая до ада оглашают ночной мир своей варварской элоквенцией. В то время как земля, подобно огромной влажной туше, отдыхает и остывает, дикая музыка набирает силу: гремит, стучит, трещит, звенит, покуда все вокруг не проникнется ее ровным безумием, никогда, однако, не переходящим грань, за которой начинается оргия – вся эта живность невинна, чиста и чужда злу. Я упоминаю о зле только потому, что знаю, как жара и неистовая музыка жизни могут сводить с ума не живущих в монастыре и толкать их на поступки, которые мир уже разучился оплакивать. Оттого некоторые и ведут себя так, словно и ночь, и лес, и жара, и животные несут в себе дурную заразу, в то время как на самом деле жара праведна, животные – дети Бога, и ночь создана не для того, чтобы укрывать грех, а чтобы раскрывать бесконечные пространства для благодати и отпускать наши души играть между звездами.

Восемь тридцать. Обход начинается с южного подвала, где свалены обнаженные провода. Оттуда несет запахом содранных телячьих шкур. Я иду по земляному полу через длинные катакомбы, там в конце – новенькая запертая дверь ведет в крыло для гостей, которое закончили только накануне. В катакомбах я первый раз пробиваю табель, потом поворачиваюсь спиной к новому крылу – и дежурство началось. Вон там, за углом, есть отверстие в стене, где стоит чан для варки фруктов. Под этим чаном по указанию дома[3] Фредерика я однажды сжег все письма, хранившиеся в комнате, которую он занимал, пока был настоятелем монастыря. За следующим углом – старая печка, где я жег остальные бумаги из той же комнаты. В этой затхлой тишине, больше уже не

Ночной дозор. Томас Мерптон filosoff.org
пахнущей вином (винодельня теперь в другом здании), свет от карманного фонаря скачет резвым теннисным мячиком по стенам и полу. Как кошка – лапами, сторож осязает чуткими ногами, что здесь земляное покрытие переходит в бетонное. Проходя сквозь окна, лунный свет добирается до самого темного угла, туда, где полки уставлены банками с черносливом и яблочным пюре.

И тут, на выходе из сумрачных катакомб, неожиданно наталкиваешься на нечто головокружительно-новое: это кухня, которую недавно покрасили новиици[4], каждую стену в другой цвет. Некоторые монахи выражают недовольство разноцветными стенами, но у сторожа нет своих мнений. Керамическая плитка под надраенными чанами и цитата из Писания почти под потолком: “Чада, возлюбите друг друга!”.

В буфетной синие скамейки; здесь прохладно. Если бесшумно подняться по лестнице, можно столкнуться с припозднившимся братом, в темноте проходящим через кухню из кладовой. Слепленный светом карманного фонаря, он застынет и (если это новичок), вероятно, испугается до смерти.

Следующие несколько метров пути я знаю лучше всего. Эта маленькая галерея – главное русло монастырской жизни. Она соединяет место, где монахи живут, с местом, где они молятся. Но сейчас галерея пуста, и, как и всюду, здесь гораздо приятнее, когда никого нет. Ступени, ведущие вниз в пошивочную мастерскую, издают особый звук. Они гулко барабанят под резиновыми подошвами моих кед. Я вдыхаю запах парусины и хлопка, смешанный с запахом хлеба. В пекарне горит свет, там у печи кто-то заработался. Около двери пробиваю табель: тут второй пост.

Третий пост самый жаркий. Котельная. Ступени уже не барабанят, а звенят: они железные. Я прокладываю путь сквозь джунгли развешенной для просушки одежды, мимо толстого парового котла, к третьему посту, который расположен у кирпичной стены под гравюрой Святого Лица.

Отсек, отведенный для новициата[5]. Здесь тоже жарко. Пол выметен, стены недавно покрашены, всюду – доски объявлений; коридоры, где каждая синяя дверь названа в честь святого, петляют и кривятся. Длинный список часов приема для исповедей и наставлений. Изречения из литургии. Отрывистые, простые и необходимые сведения. Но от стен исходит особенный затхлый запах, который сразу переносит меня в мои первые монастырские дни, в ту морозную суровую зиму, когда я только что надел рясу послушника и постоянно страдал от простуды; этот запах мерзлой соломы в dormitorio под часовой, и неожиданный глубокий восторг Рождества, того первого Рождества, когда у тебя ничего не осталось в мире, кроме Бога.

Только здесь, в новициате, ночной обход начинается по-настоящему. В одиночестве и молчании проходя назначенными путями по коридорам огромного спящего монастыря, сворачиваешь за угол и вдруг оказываешься лицом к лицу со своим монашеским прошлым и тайной своего призвания.

Теперь задача сторожа неожиданно является в подлинном свете. Ночной обход – это досмотр совести один на Один. Все остальное – лишь предлог, придуманный Богом, чтобы поместить тебя в самое сердце тьмы и оттуда высветить душу огнем вопросов.

Господи Боже мой, Господи, Которого я встречаю во тьме, вечно с Тобой одно и то же! Всегда один и тот же вопрос, на который никто не знает ответа!

Я молился Тебе в дневные часы в напряжении рассудка, а ночью Ты являлся и опрокидывал все мои резоны, обоснования и соображения. В ясном свете утра я обращался к Тебе с прошениями, и в неизъяснимости ночи Ты нисходил ко мне, с великой нежностью и терпеливым молчанием рассеивая свет и отменяя все мои прошения. Я сотни раз объяснял Тебе, что побудило меня пойти в монастырь; Ты слушал и ничего не отвечал, и тогда я, пристыженный, отворачивался и плакал.

Неужели мои побуждения ничего не значат? А мои желания – только заблуждения?

Пока я задаю Тебе вопросы, на которые Ты не даешь ответа, ты задаешь мне вопрос, который так прост, что я не могу на него ответить. Он так прост,

Ночной дозор. Томас Мерптон filosoff.org
что я и понять его не умею.

Этой ночью, и каждой ночью – один и тот же вопрос.

Крутые полые ступени, издающие особенно живой звук, ведут в часовню новициата. Пусто, окна плотно затворены, нагретый воздух неподвижен. Здесь – только ты и жар утраченного дня.

Сюда я приходил зимой в единственный дневной перерыв, когда нам разрешалось делать что угодно, – отяжелевший от недосыпа и картошки новиций – опускался на колени и стоял, сколько хватало времени. Ничего особенного я не делал, просто стоял, но это-то мне и нравилось.

Здесь мы воскресными утрами репетировали процессию Крестного Пути, толпясь и натываясь друг на друга среди скамеек, и здесь же в летние дни, отведенные для реколлекции [6], долгими послеполуденными часами простаивали на коленях – пот струился по ребрам, и свечи горели вокруг скинии, и сквозь прорези портьеры закутанная дароносица поглядывала на нас с застенчивым любопытством.

Но сейчас мне, стоящему в ночи на этом же месте с огромными табельными часами, тикающими на правом боку, с фонариком в руках и кедами на ногах, все прошедшее представляется нереальным. Как если бы оно никогда не существовало. Вещи, которые я полагал столь важными – скольких усилий они мне стоили! – оказались несущественными. А то, о чем я никогда и не думал, чего не мог бы ни определить, ни предположить, – это как раз и имело значение.

(Раньше тут был один человек – летом он всегда в одно и то же время появлялся на проселочной дороге, ранним утром, как раз когда послушники возносили благодарственные молитвы после принятия причастия: шел и распевал свою личную песенку, каждый день одну и ту же. Песенку, какую и можно услышать в разгар деревенской жары, среди круглых кентуккских холмов.)

Но что именно имело значение – в этой темноте я не смогу сказать наверняка. Что, возможно, составляет часть Твоего вопроса, на который нет ответа!

Я только помню июньский зной над бобовыми полями в мое первое монастырское лето, и такое же ощущение таинственного, неожиданного смысла, поразившее меня после похорон отца Альберика.

После новициата я возвращаюсь в маленькую галерею и скоро оказываюсь у самого прохладного поста: в монашеской умывальне, около входа в Гончарную мастерскую. Через широко раскрытые окна из леса идут сюда потоки свежего воздуха.

Тут особый город, и особый набор ассоциаций. Гончарня – нечто сравнительно новое. За этой дверью (где одна печь для обжига сгорела и теперь взамен куплена новая) маленький отец Иоанн Божий сделал хорошее Распятие, всего неделю назад. Он один из моих схоластиков [7]. И теперь я думаю о глиняном Христе, вышедшем из его сердца. О красоте, простоте и пафосе, которые дремали там, дожидаясь, когда можно будет воплотиться в образ. Я думаю об этом бесхитростном человеке с непостижимой душой ребенка и о других моих учениках. Что там зреет в их сердцах в ожидании рождения? Страдание? Обман? Героизм? Мир? Предательство? Святость? Смерть? Поражение? Слава?

Со всех сторон подступают вопросы, на которые я не могу ответить, потому что время ответов еще не пришло. Между Божьим безмолвием и безмолвием моей души стоит безмолвие вверенных мне душ. Погрузившись в эти три безмолвия, я понимаю, что вопросы, которыми я задаюсь относительно моих учеников, – быть может всего лишь досужие догадки. И, весьма вероятно, что самым необходимым и практически-полезным упражнением в самоотречении было бы отречение от всяких вопросов.

Самое поразительное в пожарном обходе – это то, что ты проходишь монастырь не только в длину и высоту, но и в глубину. Натыкаешься на странные каверны монастырской истории, на осевшие с годами пласты, целые геологические страты – чувствуешь себя, как археолог, неожиданно раскопавший древнюю цивилизацию. Но ужаснее всего, что ты сам, оказывается, проживал во всех этих погребениях. За десять лет монастырь так изменился, как будто здесь

Ночной дозор. Томас Мертон filosoff.org
каждый год сменялось десять египетских династий. Их значения и смыслы накрепко замурованы в стенах, но под нажимом резиновых подошв из-под пола еще доносится их невнятное бормотание. Самый глубокий пласт залегает в катакомбах под южным крылом и церковной башней. Все другие уровни истории расположены между ними.

Церковь. Несмотря на тишину, она кажется полной жизни. Свет от единственной лампы ложится небольшим изменчивым пятном на евангельскую сторону алтаря[8], вокруг которого постоянно движутся тени. Темнота насыщена неясными звуками, на пустынных хорах что-то поскрипывает, невидимые доски подадут таинственные сигналы.

В ризнице тишина звучит иначе. Я направляю свет фонаря на алтарь Святого Малахия и раки с мощами. На алтаре Богородицы Победительной выложено облачение для моей завтрашней мессы. Ключ щелкает в двери, и эхо разносится по всей церкви. Когда я впервые совершал ночной обход, я подумал, что она заполнена молящимися в темноте людьми. Но нет. Ночь в церкви насыщена невнятными шорохами, стены – шелестами, ропотами и шепотами, которые, часы спустя после того как завершились события дня, пробуждаются, стекаются к опустевшим местам и, скопившись там, быстро бормочут что-то нечленораздельное, как будто спеша договорить недосказанное.

В темноте близость к Тебе слишком проста и осязаема, чтобы вызывать волнение. Ночью всем вещам свойственно вести непредвиденную жизнь, но это жизнь призрачная и неподлинная. Призраки гуляющих по стенам церкви звуков только усугубляют бесконечное содержание Твоего молчания.

Здесь, в месте, где я принял обеты, где мои ладони были миропомазаны для Святой Мессы, где рукоположение скрепило печатью самую глубину моего существа, – любое слово и любая мысль только пятнают тишину Твоей невыразимой любви.

Господи, в Своей подлинности Ты обращаешься ко мне как к близкому другу, Один посреди множества фикций – этих стен, крыши, арок, этой смехотворно высокой и непрочной башни над головой.

Господи Боже мой, сегодня ночью весь мир кажется сделанным из бумаги. Самые крепкие вещи вот-вот сомнутся, скомкаются, порвутся и разлетятся по ветру. А что до этого монастыря, в который мы все так верим, – его, быть может, уже и не существует вовсе.

Боже мой, Боже, в ночи есть такой смысл, что дню и не снился. Всё на свете – спит оно или бодрствует – приходит в смятение, осознавая близость своего конца. Только человек устраивает для себя иллюминацию, уверенный, что она достаточно надежна, чтобы вечно освещать ночную тьму. Но пока мы ставим вопросы и принимаем решения, Бог сдувает их, словно пылинки: сторожа старательно вычисляют теорию прочности, – а в это время крыши наших домов рушатся, муравьи подкапываются под могучие башни, стены трещат, падают и самые святые здания сгорают дотла.

Время идти на колокольную башню. Время встречи с Тобой, Господи, – там, где ночь чудесна, крыша под ногами почти нематериальна, где хлам, разбросанный в звоннице, говорит о скором прибытии трех новых колоколов, где лес широко раскинулся под луной, а все живые существа пронзительно распевают о том, что лишь настоящее вечно, а всё, у чего есть прошлое и будущее, обречено исчезновению.

Сперва я должен обойти весь второй этаж. Затем подняться в дормитории третьего этажа. И после этого, башня.

Крытая галерея. Кошачьи лапы, полная тьма. В зимнем саду братья-монахи[9] разобрали палатку, в которой две зимы назад спали новиции и где некоторые получили воспаление легких.

Вчера они навесили новую дверь в комнату отца аббата, пока он с домом Габриэлем ездил по нашим дочерним монастырям.

Я в коридоре, проходящем под старой гостиницей для паломников. В середине его на длинном столе разложены ножи, вилки, ложки, миски – здесь завтракают постуланты и братья-миряне[10]. Три раза в день они едят в коридоре. Вот уже два года как в монастыре не находится места, где можно

Ночной дозор. Томас Мертон filosoff.org
было бы их разместить.

Высокая светлая дверь в старое гостиничное крыло захлопывается за мной, и я на лестнице.

Я и забыл, что верхние этажи пусты. Тишина поражает меня. Когда я в прошлый раз был на пожарном обходе, тут посреди ночи стояла растянувшаяся по всему второму этажу очередь из полусотни паломников, вписывающих свои имена в гостиничный журнал. Автобус только что привез их из Нотр Дама. Сейчас здесь совершенно пусто. На стенах нет объявлений. Из холла исчезли книжные полки. Заметно сократилась популяция религиозных статуй. Все окна широко распахнуты. На прохладный линолеум падает лунный свет. Некоторые комнаты открыты, и видно, что они пусты, как и все остальные. Я ощущаю эту пустоту сквозь запертые двери.

Хочется остановиться и постоять здесь хоть час, просто чтобы почувствовать разницу. Старая гостиница похожа на только что выздоровевшего больного. Вот оно, Гефсиманское аббатство, каким оно было, когда я сюда пришел, и о котором почти уже позабыл. В эту вот тишину, в эту темноту и пустоту я вступил вместе с братом Мэтью одиннадцать лет назад, весной. От всего удаленный, дом построен так, чтобы тут отрешиться от всех городов и погрузиться в годы вечности. Но ничего обнадеживающего нет в этой его вновь обретенной невинности. Тишина звучит упреком. Сама пустота – мой самый больной вопрос.

Если я сам нарушил молчание и принялся так трезвонить об этой пустоте, что она наполнилась людьми, то кто я такой, чтобы теперь прославлять тишину?[11] Кто я такой, чтобы рекламировать пустоту? Кто я, чтобы делать замечания о слишком большом числе посетителей, паломников, послушников, туристов? Или человек нашего времени уподобился Мидасу – стоит только преуспеть в чем-то, как сразу все, к чему ни прикоснешься, наполняется людскими толпами?

Уж коли в наш век толпы я выбрал себе путь отшельника, не самый ли большой грех – жаловаться на присутствие других людей у порога моего уединения? Разве я так слеп, чтобы не видеть, что уединение и есть их главная потребность? Но и они – если тысячами устремятся в пустыню, как смогут они пребывать там в одиночестве? Что хотят они там увидеть? А я сам, кого я пришел искать здесь, как не Тебя, Христос, – Тебя, имеющего сострадание к людским множествам?

И все-таки Твое сострадание выбирает того, на кого должна снизойти Твоя милость, и отличает его, и ставит отдельно от любого множества, даже если Ты и бросаешь его в самую гущу толпы...

Упершись ногами в пол, который я натирал, когда был постулантом, я задаю эти бесполезные вопросы. Вешаю на место ключ от двери, ведущей к трибунам хора, где я впервые услышал, как монахи распевают псалмы, – и не жду ответа, потому что уже начинаю догадываться, что Ты никогда не отвечаешь, когда я этого жду.

Третий зал библиотеки называется у нас адом. Маленькие дощатые перегородки делят его на четыре закутка, куда свалены признанные негодными книги. На перегородках висят американские флаги и портреты дома Эдмонда Обрехта[12]. Сквозь этот немыслимый лабиринт я пробираюсь во второй читальный зал, где раньше сидели ретританты[13], морщили брови и слушали проповеди. Проплывая мимо книжных полок, тикая табельными часами, помаргивая фонарными огоньками и позвякивая ключами от первого зала, я стараюсь не смотреть в угол с книгами о картузианцах, которые некогда завлекали меня своими песнями сирен[14]. В первом читальном зале стоят столы схоластиков – здесь находится верхний скрипториум. Всюду по стенам – теологические книги. Вон висят сломанные часы с кукушкой, которые отец Виллиброд каждое утро, прежде чем рывком распахнуть окна, настраивает с выражением некоего принципиального несогласия на лице.

Наверное, самая длинная комната в Кентукки – dormitorio хороших монахов[15]. Долгие ряды отсеков, разделенных перегородками высотой чуть выше шести футов; мы развешиваем на них рубашки, рясы и наплечники, чтобы хоть как-то подсушить их на ночном воздухе. Вдоль стен между окнами втиснуты дополнительные выгородки, в каждой – по монаху на соломенном

Ночной дозор. Томас Мертон filosoff.org
матрасе. В центре зала – бледная лампочка, углы его окутаны тенями. Мягко прохожу от отсека к отсеку. Я знаю, в каких из них храпят. Но сейчас, кажется, в этой странной обители никто не спит. Тихо, как только возможно, иду к дальней западной стене, где в углу под звонком стоит койка отца Калеба. Нахожу пост за органной дверью, пробиваю табельные часы и, мягко ступая, возвращаюсь вдоль противоположной стены дормитория.

Между двумя выгородками прячется дверь, ведущая во флигель лазарета. Там уже храпят вовсю. За лазаретом – крутая лестница на третий этаж.

Прежде чем подняться по ней, еще одно задание. Маленькая квадратная часовня при лазарете, которая давала мне пристанище перед началом всех важных этапов моей монастырской жизни: принятием послушничества, пострижением, рукоположением. Всякий раз, когда я здесь, некое чувство – его не выразить словами – вздымается из самых глубин моего существа. Это та тишина, которая поднимет меня на башню.

Между тем пробиваю часы на следующем посту – около зубоврачебного кабинета, где на следующей неделе мне вырвут еще один коренной зуб.

Теперь дела закончены. Теперь я могу взойти на вершину города веры, оставив внизу его нынешнюю историю. Эта лестница началась еще до Гражданской войны. Не задерживаясь в освещенном синей лампочкой дормитории братьев-монахов, я спешу мимо гардероба в коридор. Выглядываю в низкие окна: ага, я уже выше деревьев. В конце коридора вход на чердак и оттуда – на башню.

Висячий замок всегда производит ужасный шум. Наконец, дверь, закрепленная на петлях, которые при любом прикосновении раздражаются бранью, отворяется, и ночной ветер, горячий и порывистый, врывается с чердака, принося с собой запах стропил и старых, пыльных, лежалых вещей. Осторожнее на третьей ступеньке: не провалиться бы сквозь доски. Отсюда и выше здание постепенно развоплощается, утрачивает материальную основательность, но, однако, надо все время быть начеку, иначе расшибешь голову о балки, на которых еще видны следы топоров, оставленные еще сто лет назад нашими французскими отцами...[16]

Сейчас звенящая под ногами пустота равна что-нибудь шестидесяти футам до пола церкви. Я стою прямо над средокрестием[17]. Если хорошенько пошарить, можно найти дырку, проделанную фотоаппаратами, заглянуть в пропасть и высветить внизу мое место в хорах.

По шаткой, извилистой лестнице взбираюсь на колокольню. Высоко над головой, среди мрачных инженерных конструкций, поддерживающих шпиль, потревоженная темнота в смятении хлопает крыльями. На расстоянии вытянутой руки постукивают старые башенные часы. Я направляю свет фонарика на эту загадку – что до сих пор заставляет их работать? – и пристально вглядываюсь в старинные колокола.

Так, шкаф с предохранителями я осмотрел. Заглянул в углы, где должна быть электропроводка. Удостоверился, что нигде нет огня – загорись он тут, башня мгновенно вспыхнет факелом и через двадцать минут пожар неминуемо охватит все аббатство...

Всем своим существом вдыхая продувающий колокольню ветер, я подхожу к приоткрытой двери, сквозь которую виднеются небеса, и легонько толкаю ее. Дверь настезь распахивается в бескрайнее море тьмы и молитвы. Таким ли будет он, час моей смерти? Отворишь ли Ты дверь в великий лес, поведешь ли меня в лунном свете по лестнице, поднимешь ли к звездам?

Взойдя выше вершин деревьев, я шагаю по светящемуся воздуху, а подо мною длинно блестит металлическая крыша, обращенная к лесу и холмам.

Из полей вокруг спящего аббатства поднимается дымка влажного жара. Вся долина залита лунным светом; на юге можно сосчитать холмы за водокачкой, на севере – перечислить деревья в роще. Внизу гигантский хор живых существ возносит свои рулады: жизнь поет в ручьях, трепещет в речках, полях, деревьях – миллионы и миллионы прыгающих, летающих и ползающих тварей. А наверху, высоко надо мной прохладное небо раскрывается навстречу студеным звездным просторам.

Я кладу табельные часы на выступ колокольни, сажусь по-турецки и, прислонившись к стене, начинаю молиться, лицом к лицу все с тем же вопросом, на который нет ответа.

Господи Боже этой великой ночи, видишь ли Ты этот лес? Слышишь ли шепот его одиночества? Проникаешь ли его тайну? Помнишь ли его укромные тропы? Видишь ли Ты, что моя душа оплывает, подобно воску?

Slamabo per diem et non exaudies et nocte et non ad insipientiam mihi![18]
А место около речного притока Ты помнишь? А тот момент осенью на вершине Виноградничного холма, когда поезд шел по долине? А лощину МакГинти и поросший редким лесом склон, что за домом Ханекампа? А лесной пожар? Знаешь ли, что стало с молодыми тополями, которые мы высадили весной? Ведешь ли наблюдение за долиной, где я помечаю деревья, предназначенные для срубки?

Нет на свете зеленого листа, о котором бы Ты не заботился. Нет крика, не услышанного Тобой еще до того, как он исторгнется из горла. Нет подземных вод, не укрытых Тобой в глинистых слоях почвы. И всякий потаенный родник тоже спрятан Тобой. Нет такой лощины с одиноким домом, которая не была бы задумана Тобой для этого уединения. Нет человека на этом акре леса, не рожденного тобой для этого акра леса.

В тишине все-таки больше успокоения, чем в ответе на вопрос. В настоящем присутствует вечность, вот она у меня в руке. Вечность – как огненное семя: его стремительно выпирающие корни сокрушают оковы, не дающие разверзнуться моему сердцу.

Вещи времени в сговоре с вечностью. Тени состоят у Тебя на службе. Животные поют Тебе, пока не умрут. Тугие холмы опадают, как изношенные одежды. Все меняется, умирает, исчезает. Вопросы возникают, кажутся насущными, и тоже исчезают без следа. В этот час я перестану их задавать, и тишина будет мне ответом. И тогда мир, сотворенный Твоей любовью и искаженный от летнего зноя, тот мир, которому мой разум способен давать только ложные истолкования, – он не будет больше служить помехой нашим голосам.

Мысли, путешествующие вовне, приносят из окружающего мира сообщения о Тебе; но диалог с Тобой, если вести его через посредство мира, всегда оказывается разговором с моим собственным отражением в реке времени. Да и возможен ли диалог с Тобой? Разве только если Ты Сам выберешь гору, и покроешь ее густым облаком, и огнем высечешь слова в сознании Моисея.

Этот раскаленный плод грома и молнии, некогда явленный ему на каменных скрижалях, мы теперь носим в себе естественно и тихо, легче дыхания.

Ладонь раскрыта. Сердце немо. Душа, эта твердая жемчужина в пустом дупле моего мнимого могущества, удерживающая вместе мое физическое существо, однажды уступит и сдастся.

Я вижу звезды, но больше не притворяюсь, что знаю их. Я много раз ходил по этому лесу, но смею ли я сказать, что люблю его? Одно за другим я забуду имена отдельных вещей.

Тебя, кто спит в моей груди, не встретить в словах, но только в прорастании жизни изнутри жизни и мудрости изнутри мудрости. Найти Тебя можно в причастии: Ты во мне и я в Тебе, Ты в них и они во мне – отрешение в отрешении, бесстрастие в бесстрастии, пустота внутри пустоты, свобода внутри свободы. Я один. Ты один. Отец и я – одно.

В раю слышится Божий голос:

“что было ничтожным, стало драгоценным. что сейчас драгоценно, никогда не было ничтожным. Я всегда знал, что ничтожное драгоценно, ибо для Меня нет ничего ничтожного.

что было жестоким, стало милосердным. что сейчас милосердно, жестоким не бывало. Я всегда покрывал Иону Моим милосердием, ибо Мне неведома жестокость. Иона, дитя мое, видел ли ты Меня? Милосердие внутри милосердия внутри милосердия. Я простил мирозданье во веки веков, ибо Мне незнаком грех.

что было нищим, стало несметным. что сейчас несметно, никогда не было нищим. Я всегда знал, что бедность неиссякаема – и никогда не любил

Ночной дозор. Томас Мертон filosoff.org
богатства. Тюрьма внутри тюрьмы внутри тюрьмы. Не копи для себя радостей на этой земле, ибо пространство разлагается, а время лукавит, и минуты не столько дают, сколько крадут. Иона, сын мой, не вверяй себя времени, дабы эта река не унесла тебя.
Что было слабым, стало крепким. Я люблю самое хрупкое. Я призрел то, что было ничем. Я прикасаюсь к не имеющему субстанции, и где ее нет, там я пребываю”.

Восходит великое солнце, капли росы сапфирами сверкают в траве, и листья деревьев трепещут вослед бесшумно улетающему голубю.

Примечания

1

Список книг, опубликованных при жизни Мертон, в предлагаемой хронологии далеко не полон.

2

Ангелус – часть католической службы, состоит из троекратного чтения “Аве Марии” с соответствующими стихами и заключительной молитвой. Читается трижды в день – утром, днем и вечером.

3

дом – аббат монастыря, имеющего статус аббатства.

4

Новиций – послушник второй ступени, уже прошедший год в монастыре. Обычная длительность второй ступени послушничества – два года. Новиций не принимает постоянных обетов и при желании может покинуть монастырь, однако носит рясу и участвует в жизни общины. По окончании испытательного срока новиций, если за него проголосует община, принимает временные обеты, за которыми через три года следует принятие вечного (торжественного) монашеского обета

5

Новициат – помещение, в котором занимаются новиции.

6

Реколлекции – вид духовной практики в католичестве.

7

Схоластик – монах, изучающий теологию в связи с подготовкой к принятию священнического сана. Монахи, уже принявшие сан, участвуют в занятиях по крайней мере раз в месяц. Томас Мертон с 1951-го по 1955-ый год руководил занятиями по теологии в Гефсиманском монастыре.

8

Правая сторона алтаря, если смотреть от входа в церковь.

9

В траппистских монастырях живут монахи разных обетов. Братья-монахи не рукополагаются в священство и, в отличие от монахов-священников (иеромонахи в православии), больше времени отдают физическому труду и меньше – церковным службам.

10

Постуланты – послушники первого года. Братья-миряне живут в монастыре, следуют его правилам и в обмен на полный пансион помогают в выполнении хозяйственно-строительных работ.

11

В конце сороковых годов в Гефсиманский монастырь, предназначенный для жизни восьмидесяти человек, хлынул поток новициев и послушников, чему в значительной мере способствовал превысивший все ожидания успех первой книги Томаса Мертона “Семиярусная гора”. В результате, хотя монастырь и пытался ослабить натиск извне за счет создания нескольких дочерних монастырей в Америке, в нем одновременно проживало почти триста человек, не считая приезжих, туристов и любопытных. Мертон, монах-молчальник, оказался в эпицентре общественного внимания, что немало осложнило его жизнь.

12

Дом Эдмонд Обрехт – аббат Гефсиманского монастыря с 1898-го по 1935-ый год.

13

Ретританты – люди, останавливающиеся в гостинице монастыря с тем, чтобы вести образ жизни, близкий к монастырскому. Предполагается, что ретритант посвящает свое время размышлению и молитве; однако никто не следит за тем, что он делает. Ретрит может быть групповым или индивидуальным, длиться несколько дней или недель, и доступен любому, без каких-либо (включая религиозные) ограничений. Собственно, для ретритантов и существуют бесплатные монастырские гостиницы с трехразовым питанием, отдельными комнатами, возможностью уединения, молчания, посещения церковных служб и личных бесед с наставником (в настоящий момент в Гефсиманском монастыре эту функцию выполняет очень старый, хотя на удивление живой и острый, отец Мэтью, бывший в свое время исповедником Томаса Мертона).

14

Одно время Мертон всерьез раздумывал о переходе в монастырь другого ордена – Картузианского, но не получал на это одобрения своего начальства. Картузианцы живут в отдельных кельях, а не в общих dormitorioх, и Мертон надеялся, что такие условия помогут ему лучше сосредоточиться на созерцательной молитвенной практике. Едва ли не с первого дня в монастыре он хотел вести жизнь отшельника, что ему со временем (но нескоро) было позволено.

15

Хоровые монахи – монахи, уже рукоположенные в священники (иеромонахи в православии).

16

Гефсиманский монастырь был основан в Америке как дочернее образование от французского аббатства в 1848-м году.

17

В европейской церковной архитектуре – область пересечения центрального нефа и трансепта; обычно венчается башней.

18

Ночной дозор. Томас Мертон filosoff.org

Я вопию днем, – и Ты не внимлешь мне; ночью – и нет мне успокоения. Пс 21:3.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!